

СВЕТ В ОКНЕ

Клевало. Я увлекся. Спыхватился, когда стало темнеть, а крепчавший мороз начал цеплять на леску бусинки воды.

Ругая себя за жадность, поглядывая на часы, я торопливо смотал донку, вскинул шарабан на плечо и почти бегом направился к видневшейся вдали узкой зубчатой полоске леса.

Темнело быстро. Когда подошел к берегу, к убегающей в глубину леса тропинке, от которой до шоссе более получаса хорошего хода, понял, что на рейсовый автобус, отходящий от маленького лесного поселка, мне не успеть, а идти по лесу, чтобы переночевать у знакомого, честно говоря, побоялся.

Оставалось одно из двух: либо провести ночь на берегу у костерка, либо дойти до заброшенной деревушки, о которой я узнал в прошлом году от товарища, но в которой еще ни разу не бывал.

«Все ж какая ни на есть, а крыша над головой будет, стены»,— подумал я, настороженно прислушиваясь к тишине.

Шел быстро. Не в силах избавиться от ощущения, что за мной кто-то идет, то и дело оглядывался. Высокое черное небо над головой, могучий лес, просторная озерная гладь вселяли чувство робости и страха, и мне казалось, что я маленький и незащищенный.

Как-то разом высыпали звезды, а на противоположном берегу, над лесом, из-за тучи неохотно, словно делая одолжение, появилась луна. Свет ее, бледно-голубой, добрый, залил озеро, лес и наградил меня хилым попутчиком— собственной тенью.

Впереди показался небольшой мысок, па острие которого в гордом одиночестве стояла высокая сосна с поникшими под тяжестью снега лапами.

Я обогнул мыс и увидел деревеньку. Залитая мертвенно-бледным светом луны, забытая, верно, не только людьми, но и богом, она стояла на самом берегу. Избы ее, какие-то скрюченные, отрешенно смотрели пустыми глазницами окон Ш землю, словно стараясь увидеть на снегу свежую колею, другие глядели в небо, словно вымаливая что-то. Возле каждой стояла полуразвалившаяся банька, похожая издали на кучу головешек огромного, полусасыпанного снегом костра.

Стало неудобно и печально. Я поехал, хотел было свернуть к одной из них, как вдруг совершенно неожиданно в самой дальней от меня избе, стоящей почти у самого леса, в окошке увидел свет, кротко и осторожно смотревший в ночь.

Я повеселел. С трудом вытаскивая ноги из наметенных ветром сугробов, запереступал к свету и вскоре уже стоял перед невысоким чисто обметенным крыльцом.

Дверь в сени была приоткрыта. Квадрат окна был тепловато-желт. Отсвет его лежал на снегу, тропинке, которая тянулась от крыльца к озеру.

Ступеньки крыльца звучно заскрипели под

моими шагами. Я обмел веником валенки и вошел в сени. Здесь было темно. Чиркнул спичкой, увидел дверь, постучал.

— Заходите, заходите,— спокойно и просто отозвался голос из-за двери.— Не заперто.

Я открыл дверь. В лицо щедро пахнуло теплом, запахом хлеба, глаза встретились с уютным светом керосиновой лампы, стоявшей на середине стола, возле которого с вязанием сидела старуха в накинутах на плечи огромном платке.

— Здравствуйте,— сказал я, переступив порог и закрывая за собой дверь.

— Здравствуй, мил человек,— спокойно и безо всякого удивления отозвалась старуха, аккуратно положив вязанье на край стола.

— Переночевать у вас не разрешите?— спросил я, ожидая, что она, как это принято, станет расспрашивать меня, кто такой да от куда, но она буднично и просто, так, словно ждала меня, ответила:

— Что ж нельзя-то. *Изба*, поди, большая, места и тепла хватит. Да ты раздевайся, раздевайся,— она поднялась, опираясь рукой о стол.— Замерз поди?

— Есть немножко,— признался я, опуская шарабан на пол.

— Чай пить будешь?

— Если можно.

— Тогда за водичей сходи. Я давеча сама хотела, да...— она махнула рукой.— Поясница разболелась.

Я взял стоящие слева от порога ведра и вышел из избы.

Мороз жадно вцепился в лицо, забрался за отворот полушубка. Он и на самом деле залютовал не на шутку. Звезды были чистые и колючие. Ярко блестела луна.

Тропинка оказалась узкой и глубокой. Мне, городскому, привыкшему к ширине и свободе шага, идти по ней было неудобно, и я то и дело оступался, залезая ногой в снег.

Недалеко от берега стояла ладная банька. От нее несло запахом дыма, веником.

Прорубь была затянута льдом. Тут же рядом лежала пешня. Я разбил ею лед, опустил ведро. Льдинки вертанулись, поймали лунный свет и пропали, окунувшись в темную воду, которая тяжело и неохотно влилась в ведро.

Обратно шел, неся ведра на весу, чтоб не задеть бровку тропинки.

— Вот спасибо, выручил старую,— сказала старуха, когда я поставил ведра на прежнее место.— А самовар мы сейчас живо раздуем.

Да ты раздевайся, раздевайся... И шарабан-то в сени вынеси, а то, не ровен час, спортит-ся рыба-то... Поймал ли хоть чего?

— Поймал.

— И то ладно,— она кивнула и занялась самоваром.

Я снял и повесил полушубок на вбитый рядом с дверью здоровенный гвоздь, стянул валенки.

— Катанки-то на печь положи,— сказала она, разжигая лучины.— Обувка, она такая... Ты ее сегодня согреешь, а она тебя — завтра...

Я положил валенки на печь и сел за стол. —

Зовут-то как?— спросила она, садясь на табурет и беря в руки вязанье.

— Борисом.

— А меня Екатериной Владимировной,— и спицы в ее пальцах снова замелькали.— А внучек бабой Катей кличет. Постреленок та кой, что не приведи господь,— она улыбнулась. От глаз побежали лучики.

Я посмотрел в окно, за которым виднелись гладь озера, лес и ряд черных изб.

— А вы что ж, Екатерина Владимировна, так одни здесь и живете?— удивленно спросил я.

— Одна, милый, одна,— она посмотрела на меня.— Жить-то надо.

— И не страшно?

— А что страшного-то?—искренне удивилась она.— Страх-то свой, что был, я за войну растеряла. А счас кому я старая нужна? Лешему если...— она улыбнулась и, поправляя платок:— Да и сын навещает. Машина у него есть... Короткая такая... Проедет где хошь.

— «Нива»?

— Она самая. Да ты сына-то моего, может, и знаешь? В городе он живет. Плотни ком работает. Ларионов фамилия, а зовут Андреем. Высокий такой, красивый...

Я отрицательно покачал головой:

— Город, он большой...

— Это я так,—она отложила вязанье, по дошла к засвистевшему самовару.

— А что ж вы у сына не живете?— полю бопытствовал я, ставя самовар посередине стола.

—■ Жила,— она отмахнулась.— Да скучно там.— Она поставила на стол чашки и сахарницу.— Люди все незнакомые. Сын с невесткой на работу уйдут, внучок в садик, а я, их ожидаючи, у окна сижу. В квартире тихо, и дел никаких, знай одно — сиди. В город пойдешь — все куда-то спешат, спешат, и поговорить не с кем.

— Так и здесь,— я повел рукой,— тоже поговорить не с кем.

— Языком-то и не с кем, а сердцем...— она вздохнула, тяжело опустилась на табурет.— А сердцем, милый, разговору до дней моих последних хватит.

Она, подперев ладонью щеку, замолчала. Молчал и я. Пошумливал самовар. Ровно светил язычок пламени в керосиновой лампе, роняя на потолок и стены глубокие тени.

— Сижу иной раз вечером, вяжу,— задумчиво заговорила она, поглаживая рукой вязанье.— А сердце и начнет разговаривать — душевно так, словно уговаривает. Посмотрю на стол и вспомню, как за ним вся семья си дела: муж мой Вениамин Степанович, царство ему небесное,— она мелко перекрестилась.— Без вести пропал он в войну эту... Сынок мой старшой — там же сгинул... Лица их вспомню, разговоры разные, и словно отобедали вмес те... А то в горнице сердцем заговорю,— она печально улыбнулась, пригладила редкие волосы, посмотрела на меня.— Вот ты, наверное, слушаешь меня и думаешь, что с ума сошла старая?

— Ну что вы, Екатерина Владимировна!

— А и не думай, милоч, не думай. Жизнь-то, она разная. Ну, давай чай пить.

Она неторопливо и аккуратно наполнила чашки крепким чаем, пододвинула одну из них мне:

— Пей, милоч.

— А что ж избы-то покинули?— спросил я, помолчав.— Померли все, что ли?

— Кто избы рубил — померли,— просто сказала она.— А дети их в город жить пере ехали. В городе-то, говорят, легче.

— Летом-то хоть приезжают?

— Приезжают. Огороды садют,— она вздохнула.— А до избы им дела нет. А избы то для жизни ставились, чтоб тепло хранить. Говорят, что дачи в них теперь будут,— она горько усмехнулась.— Отдыхать, значит, приезжать будут. А и то ладно, все ж не пустые, да и отремонтируют, хоть летом в гости будет к кому зайти. Должность мне сторожа обещают. Платить, говорят, будут... Родилась я здесь, выросла, замуж вышла, детей родила, а теперь вот сторожихой,— и невесело рассмеялась. Помолчав, глядя в окно, негромко заговорила:—Выйду иной раз на улицу и ми мо изб пройдуся. Иду и каждой кланяюсь, говорю:— Здравствуй, подружка моя Пелагеюшка. А то с Ксенией поздоровкаюсь — изба-то ее третья от моей будет, а то с Еремеем — ухаживал он за мной, когда я в девках была... Красивый был, работающий — почитай, во всех избах его работа есть,— да сердцу моему не приглянулся...

— Погиб?

— Погиб. Сказывают, где-то там...— она махнула рукой,— в другом государстве. Там и похоронен... Жена-то его, Варвара, как похоронку получила, поседела вся. Любила крепко.

— И все же, Екатерина Владимировна,— робко заметил я,— на людях-то лучше жить.

— Конечно, лучше,— охотно согласилась она.— Разве ж я не понимаю. Я уж на прошлой неделе в город собралась жить. А как к кладбищу нашему подойду, так и встану как вкопанная. Смотрят на меня кресты могильные и, что человек руки раскинет, не пускают.. Постояла я и тихонечко назад. Видать, нужна я здесь, в родных-то местах, хоть и старая совсем стала... Сам-то женат?— неожиданно спросила она.

— Женат.

— И детки есть?

— Есть.

— Это хорошо. Без детей какая жизнь... Да ты, поди, спать хочешь?— она внимательно посмотрела на меня.— Заговорила я тебя.

От тепла, горячего чая я и на самом деле разомлел.

— Ложись на печь,— засуетилась она.— Ложись. Поспать — дело молодое...

Вскоре я лежал на теплой печи. Мороз яростно тискал избу, и она глухо покряхтывала под его силищей. Екатерина Владимировна сидела за столом и пила чай — неторопливо, как все пожилые люди. На подоконнике светила керосиновая лампа. И я подумал, какой же силой обладает этот крохотный огонек, если огромная, хваткая от мороза ночь не может одолеть его...

Я уходил утром, когда чуть рассвело.

— А ты заходи, заходи,— говорила она мне, трогая за рукав полушубка и провожая до порога.— Избу ты мою теперь знаешь. Заходи.

Я обещал зайти.

Когда я вышел на дорогу и увидел узенькую тропинку, бежавшую вдоль изб с наметенными на крыльце сугробами, с провалами окон, мне стало тяжело и грустно, но потом подумалось, что человек рано или поздно, но всегда возвращается туда, где родился, и что этот маленький огонек за окном и будет тем магнитом, силу которого не смогут преодолеть ни время, ни легкая жизнь в городе, что избы ждут не зря.

Подойдя к остановке и скинув с плеча шарабан, меня вдруг словно обожгло — ведь я забыл оставить рыбы для старухи. Жгучее чувство вины не покидало меня. *Я* сел в автобус, еще раз бросил взгляд на дальний мыс и тут же опустил глаза.